

СКАНДАЛИСТ,
ИЛИ ВЕЧЕРА
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
ОСТРОВЕ



Я не рожден, чтоб три раза
Смотреть по-разному в глаза.

Б. Пастернак

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Лица, пытающиеся открыть затаенные личные мотивы в этом повествовании, подвергнутся судебному преследованию; лица, пытающиеся извлечь отсюда какое-либо нравоучение, будут высланы; лица, пытающиеся усмотреть здесь сокровенный злокозненный умысел, будут расстреляны по приказанию автора начальником его артиллерии...

М. Твен. Приключения Гекльберри Финна

ЗДЕСЬ ЧИТАЛ АДЪЮНКТ-ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ-ЯНОВСКИЙ

1

Жена лежала рядом с ним, большая и грозная, устроенная именно так, чтобы лежать рядом с ним.

Это была та самая женщина, которой он улыбался. Да, именно улыбался, обязан был улыбаться. Он с ужасом потрогал ее спину ладонью. Это была сама судьба, слепая и увядшая, с которой сползло одеяло.

Он с тоской отвернулся к стене и вспомнил старый свой способ поскорее заснуть — нужно было поднять глаза под закрытыми веками, стараясь, чтобы все спуталось в голове, подражая самой последней перед сном минуте. Но и на этот раз заснуть не удалось. Далекий трамвай пропел на повороте, оконные переплеты, отраженные на потолке, напоминали другую, третью, четвертую ночь, любую из тех, которыми располагал профессор Ложкин. Они ничем не отличались от этой, разве только время было другое. Но та же луна, пенные трамвая, усталость.

Не стоило перебирать дня, оставленного в кабинетах Публичной библиотеки, в аудиториях университета. Да и полно, был ли это сегодняшшний день? Быть может, вчера или год, два года, десять лет тому назад он спускался по сухим паркетным лестницам в рукописное отделение, горбатый на одно плечо старик приветствовал его: «Soyez le bienvenu, monsieur!»¹ — задыхающиеся рукописи перелистывались перед его глазами. Десять, нет, пятнадцать лет назад он разыскивал водяные знаки на хрупких листах табачного цвета, истевающих от бесшумного хода столетий, разбирал и сличал тексты, из-за которых когда-то убивали, сжигали на кострах, гноили в земляных ямах, — всю свою жизнь он занимался литературными памятниками ересей и сект XV и XVI столетий.

¹ Милости просим, сударь! (*фр.*)

И самым тягостным показалось ему, что приветливый горбатый старик говорил свою фразу, несмотря ни на что, — он сказал ее в июле четырнадцатого года, в февралю и октябрю семнадцатого.

Но, впрочем, что ж тут примечательного? Он просто вежлив, этот старик, его отец и дед были хранителями рукописного отделения, что ему, в конце концов, до русской революции или Версальского мира? Он припомнился только потому, что сегодняшний день очень похож на вчерашний, на третьегодний, на любой из тех, которыми располагает профессор Ложкин.

И только один-единственный день не похож на все остальные, — день, когда он впервые спустился по легким, как в театре, лестницам и сел за стол, протирая пенсне, упираясь молодыми, но уже близорукими глазами в клетчатые очертания стен, построенных из дерева и переплетов...

Он вытащил из-под одеяла руку, провел ею по лицу, пощупал следы от пенсне на переносице.

— Профессор, — сказал он самому себе шутливо, — не ищите, друг мой, особого значения в том, что...

В чем? Он поиграл складками одеяла и поднес руку к глазам. Рука была комнатная, заблудившаяся, потерявшая прямое назначение.

А все, что он собирал так долго, год за годом, наука, которая ворохом просохшей бумаги шуршала вокруг него ежедневно, ежеминутно?..

«Ну и что же мне делать с ней?» — спросил он едва ли не вслух и тотчас же уклонился от вопроса, оскорбившись обидным сравнением, которое он сам же и придумал несколько дней тому назад.

По совести говоря, он и сам не знал, что ему делать со своей наукой, он сторожил ее, как солдат, который тридцать лет сторожил дорогу по приказу императора Павла... Нет, хуже того, он сторожил ее, как собака сено...

Жужжа на повороте, пролетел трамвай, оконные переплеты стали перед ним, как лист перед травой, — все это бывало и раньше, ничего не случилось, продолжение следует.

Не было ни малейшей причины волноваться. Наука — вот она, он ее знает, он знает, что с ней делать, он, наконец, слишком стар, чтобы менять профессию. Пустое, ничего нет, все дело, быть может, в том, что сегодня вечером на панихиде он слишком долго смотрел в косяное лицо покойника, — отпевали старого приятеля, профессора Ершова, умершего в сумасшедшем доме.

Запах ладана припомнился ему, и глупая речь, которую сказал священник, — он с отвращением вдохнул открытым ртом и под-

тянулся выше на подушках, схватившись за спинку кровати. Надо полагать, что Ершов сошел с ума от одиночества. Он, кажется, не женился для того, чтобы стать великим ученым. Уж лучше бы он женился, пожалуй.

«Семейный человек живет как собака, но умирает как человек — холостой живет как человек, но умирает как собака», — подумалось или вспомнилось Ложкину. Вот он, Ложкин, — семейный человек, у него есть надежда умереть прилично, с достоинством, может быть, даже в своей квартире, а не в сумасшедшем доме. Об этом позаботится его жена, его судьба, которая живет с ним в одном доме, спит с ним в одной постели, ест с ним за одним столом и требует, чтобы он улыбался.

— А что бы случилось, однако, если бы я перестал улыбаться? — спросил он самого себя и тут же передвинул что-то в голове, начал думать о другом, стараясь уверить себя, что это другое и есть то самое, о чем он думает с вечера до... Он посмотрел на часы. До половины четвертого ночи. Что-то очень важное, какая-то забота, живущая между научным спором и квартирной платой... И кстати, куда же все-таки он засунул эту проклятую квитанцию за прошлый месяц?

Вот только теперь к нему пришло последнее перед сном, давно изученное мгновение, он, как всегда, заметил его и почувствовал с радостью, что наконец засыпает. Тогда, получившись, полуоткрыв глаза, не сознавая уже, как давно прекратилась томительная работа сознания, он перевернулся на живот, вытянул ноги. Отдаленный трамвай все еще гудел, как шмель, гудел на повороте, он так и не догадался, что это был не трамвай (скрипели петли дворовых ворот), кто-то негромко и шутливо крикнул внизу, на улице, и все окончилось, он спал.

Он спит, а на другом конце города, в самом глухом углу Васильевского острова, на черт знает какой линии, в проточенном, протекавшем доме, из которого давным-давно, опасаясь обвала, выехали жильцы, за кухонным столом, залитым чернилами, сидит маленький старичок с рыжеватой курчавой бороденкой, подпирая лицо руками, глядясь в почерневшее окно. Ничего не видать в окне, кроме отраженных рук, подпирающих мутное пятно лица, лба, ускользящей в стекле бороденки. Но он смотрит настойчиво, прилежно, он как будто видит, как за три квартала отсюда, на четырех перекрестках, ходит ходуном сам Васильевский остров, в клетчатой кепке, в широких морских штанах, с папироской, прилипшей к подсохшим губам.

Наконец он встает, снимает узкое драповое пальто, которое не снимал с тех пор, как вернулся со службы, и, бормоча что-то, жужжа и хихикая, начинает укладывать вещи. В заплечный мешок он кладет

несколько рубашек, крахмальную манишку и ящик от сигар, в котором лежат воротнички, карандаши и старые письма. Он снимает со стены полустертую фотографическую карточку — задорное женское лицо смотрит на него внимательно и лукаво — и бережно заворачивает в газетную бумагу.

Свет меняется в окне, когда он наконец ложится, не раздеваясь, на голую кровать, под драповое пальто и ватное одеяло. Он больше не жужжит, не бормочет. Свет меняется в окне, близится утро, он засыпает.

Спит в скором московском поезде Некрылов, писатель, скандалист, филолог. Он спит, лоя уснувшей рукой сползающее с плеч пальто, подбросив под голову свои книги, которые он везет друзьям и которые никогда не получают ученой степени в университете. И город катится навстречу ему во сне. Сон, как солдат на часах, стоит над городом, от охтинских рыбаков до острова Голодая.

Не спят только милиционеры на постах, сторожа, охраняющие мосты, да еще те, которые спят днем, чтобы работать ночью.

И вместе с милиционерами, ночными рабочими и сторожами не спит студент Института восточных языков Ногин. В письме, которое он изорвал в клочки, не было ни слова о том, что он третью неделю грузит железо в порту, обедает через день и загнан в утлый чулан, притворившийся человеческим жилищем. Он писал: «Люди, которых никто не встречает ежедневно, ежеминутно в трамваях, в театрах, в ресторанах, которые живут одиночками, которые все же немислимы вне нашего времени и нашего пространства, занимают меня. Они одиноки, враждебны друг другу, каждый из них живет за самого себя и ничем не обязан соседу, любовнице, брату. Они вскормлены войной и революцией, но живут за свой счет и равнодушны к родителям — потому что и в этом согласны с духом эпохи, воспитавшей неуважение к отцам. Они не стараются отгородиться от мысли, что мир разорван, борьба неустранима, но они не носят эту мысль с собой в боковом кармане, в записной книжке, вместе с распиской за квартирную плату и квитанцией от заказного письма. Они рождены одной эпохой, вскормлены другой и пытаются жить в третьей...»

Прошло и навряд ли когда-нибудь возвратится загадочное время, когда на историческом театре, под гром и молнии гражданской войны, появилась с пером в руках комнатная Россия. Она сидела в ва-

ленках за канцелярским столом, вброшенным в княжеские и купеческие особняки, и листала журнал входящих и исходящих бумаг, превращенный в новое евангелие новых канцеляристов. Простая, как воздух, формула была начертана на стенах монастырей. Должны были работать все — от регента до классной дамы, и интеллигенция незаметно для себя, на журнале входящих и исходящих бумаг, покаялась в верности четвертому сословию.

Тогда с легкостью, почти непредставимой, сами собой начали возникать учреждения. Они возникали преимущественно в тех местах, где сохранились голландские печи. Заваленный работой, важничавший печник пробивал дыру в дымоходе, оглушительно стучал молотком по трубам, мазал глиной буржуйки, курил, скандалил, отбивал от потолка известку. Подобно богу, он работал шесть дней, на седьмой отдыхал, а на восьмой начиналась жизнь. Курьеры разносили морковный чай, лысый кассир дышал на озбящие руки, огромные черные слезы падали из печных труб на притихшую интеллигенцию. Комнатные люди, вброшенные в особняки с голландским отоплением, были заняты и приучались к мысли, что чечевичная похлебка, которую они ели, вернувшись домой со службы, — есть та самая, за которую они продали свое призрачное первенство в русской революции.

Где, в каком музее лежат теперь все эти входящие и исходящие, удостоверения, справки, мандаты, карточки, акты, анкеты, проекты — бумаги, написанные рукой, которую нужно было занять во что бы то ни стало? Курьеры мажут их салом потихоньку, крысы жрут их с вечера до утра и с утра до вечера.

Редко кто остался на том месте, которое занял в памятные дни боевого крещения русской интеллигенции! Разве какой-нибудь обиженный, обсиженный мухами канцелярист с рыжей бороденкой (которая единственно нарушает деловую, солидную внешность преобразованного учреждения) все еще сидит на обтертом стуле, согнув спину, не выпуская из рук изгрызенной, запачканной чернилами ручки.

3

Рыжая бороденка эта торчала в одном из крупных ленинградских издательств. Она принадлежала хранителю рукописей — загадочному и отрешенному от реального мира. Не только ручка, но и пальцы его были запачканы чернилами. Он жужжал.

Когда он, подтанцовывая, вбегал в вестибюль, швейцар, принимая от него пальто, оглядывался беспокойно, стараясь угадать, в каком окне бьется неугомонная муха. Жужжание пропадало на мгновение, когда хранитель рукописей проходил мимо комнаты машинисток, и снова возникало в свободном, продолженном перилами, пространстве общей канцелярии. Это было уже не жужжание, это был ночной шум, шумела вода в водопроводных трубах, рассыпался пол, корбились обои. Хранитель рукописей водворялся у неуклюжей конторки, между шкафами, в стороне от прочих служащих редакционного отдела — только тогда шум спутывался с бормотанием, в нем появлялись концы и начала слов, предлоги и междометия.

Здесь, между шкафами, была жилая площадь этого шума.

Здесь он мог свободно выражать радость и уныние, неудовольствие и раздражение, недоумение или тревогу хранителя рукописей.

Но, впрочем, испытывал ли он радость, неудовольствие, тревогу?

За девять лет, в течение которых он ни разу не пропустил случая аккуратнейшим образом отсидеть положенное служебное время, он едва ли перемолвился приятельским словом с кем-нибудь из своих сослуживцев. За его спиной в продолжение этого времени выросло огромное учреждение, бесконечная мешанина людей, вещей, бумаг, папок, книг, пишущих машинок — чертов котел варился за его спиной с девяти до четырех ежедневно. Он ничего не замечал и ничему не удивлялся.

Никаких рукописей он, в сущности говоря, никогда не хранил. Он только числился хранителем рукописей. Но ни одна из них не миновала его — он подсчитывал печатные знаки.

Печатные знаки, как раздвижные солдатики, постоянно двигались перед его глазами — строка перестраивалась в страницу. Они не выходили из головы — он видел их на дне суповой тарелки, в зеркале, во сне. Они казались расплющенной дробью, которую он напрасно старался сдунуть или стряхнуть. Болезнь печатников — она была тяжела для его лет, он никак не мог к ней привыкнуть.

Должность подсчитывателя печатных знаков возникла из недоверия. Неясно было, почему именно ему, а не кому-либо другому было поручено это дело. Должно быть, бородака либо жужжание показались заведующему издательством несомненными признаками недоверчивости. Как бы то ни было, от имени издательства он имел право не доверять писателям, переводчикам, ученым. Он сидел с карандашом в руках над историей, политикой, экономикой, математи-

кой, литературой — и не доверял. Издательство выигрывало на этом как раз ту сумму, которая шла на его жалованье.

Казалось, он принадлежал к числу никому не известных сомнительных людей, которые время от времени появлялись в издательстве неприметно и столь же неприметно исчезали. Он не исчез. Напротив того, он пересидел множество редакторов, не говоря уже о делопроизводителях и технических секретарях. Согнувшись циркулем, он торчал над конторкой и, жужжа, подсчитывал знаки. Жужжание выражало независимость.

Его не называли по фамилии. Кто-то из местных острословов окрестил его Халдеем Халдеевичем, и хотя были минуты, когда он почему-то не откликался на это имя, — в обычное время он как будто ничего обидного для себя в нем не находил...

Впрочем, были в издательстве люди, которым он никогда не разрешал называть себя Халдеем Халдеевичем.

Это были писатели. Писателей он не любил. Он относился к ним с недоверием не только по долгу службы, но и по собственному разумению. Они казались ему людьми беспокойными, шумливыми, ненадежными. По два, по три часа они шлялись из одного отдела в другой и говорили, говорили без конца. Ему случалось прислушиваться к этим бесконечным разговорам. Все были на один лад. Каждый рассказывал другому о себе и ждал, что собеседник его похвалит. Они хвалили друг друга. Они боялись поссориться. Они хвастали, как актеры, и притом ввали. Халдей Халдеевич понимал, почему они подолгу сидят в издательстве без всякого дела. Это заменяло им службу. Они были одним из отделов — но отделом беспокойным, распущенным, ходячим...

4

Не оборачиваясь, он подергал плечом, сморщился и, упершись кулаком в подбородок, задумчиво уставился в окно. В сотый раз он увидел полуголую богиню со швейной машиной у ног, клочок неба, похожий на воздушное печенье, и свежепокрашенную крышу соседнего дома. Ни то, ни другое, ни третье не доставило ему ни малейшего удовольствия. Он пожал плечами и, поерзав на стуле, скосил глаза, стараясь высмотреть кого-то за фанерной перегородкой. Потом он подмигнул Вильфриду Вильфридовичу Тоотсману, бывшему мировому судье, почтенному семьянину, занимавшемуся рассылкой корретур. Мировой судья, почти испуганный такой общительностью со стороны своего молчаливого соседа, подошел поближе.

— Я вас, любезный друг, предупредить хотел, хотел предупредить, — шепотом сказал Халдей Халдеевич и большим, язвительно изогнутым пальцем левой руки ткнул в сторону фанерной перегородки, — на всякий случай имейте в виду... Плут! Плут и пролаза!

Вильфрид Вильфридович опасливо посмотрел на язвительно изогнутый палец и, ничего не сказав, вернулся к своим корректурам.

Человек, сидевший за фанерной перегородкой, был еще очень молод. У него были пухлые губы. Лицо его, расплывчатое, но выразительное, было спутано и затушевано очками — тяжелыми, шестигранными, роговыми. Неделю назад он ходил еще без этих очков, назывался Кирюшкой Кекчеевым и получал жалованье по девятому разряду. Он был просто мальчишкой, пусть даже и окончившим какой-то институт, — Халдей Халдеевич плевать хотел на этот институт.

Неделю назад он смиренно выслушивал выговоры и наперегонки с лифтом летал по всем четырем этажам, когда курьер был отослан в другое учреждение. А теперь, извольте видеть, теперь...

Халдей Халдеевич с трудом представлял себе, как произошло неожиданное возвышение его помощника. Он боялся признаться себе в том, что и он сам, каким-то несчастным случаем, был в этом возвышении замешан.

5

Едва ли не с первого дня своего пребывания на службе Халдей Халдеевич заметил одного из наиболее частых посетителей издательства — человека огромного, медвежьего, обходительного.

Человек этот подъезжал к издательству в дрожжах и, мало, в сущности, разговаривая, а больше оттирая плечом тех, что были помоложе, пролезал прямо к кассе. Он как будто даже и не писал ничего, а только редактировал — и то в отдаленном прошлом — какой-то журнал полунаучного характера. И тем не менее все заискивали перед ним. Даже те, которые называли его прохвостом.

Впрочем, он не выпускал изо рта трубки и имел вид человека почтенного и незаурядного.

Тоотсман первый увидел его в жилой площади шума, производимого Халдеем Халдеевичем. Шум умолк. Халдей Халдеевич спутался в счете и с беспокойством поднял голову. Посетитель приближался к нему, неся впереди себя большой, круглый живот, добродушно попыхивая трубкой. Воздуху в комнате стало как-то гораздо меньше.

Живот сказал что-то, и Халдей Халдеевич понял, что видит перед собой тоже Кекчеева, родного отца или по меньшей мере родного дядю Кирюшки. Тут же выяснилось, что дело именно Кирюшки-то и касалось...

Испуганный, зажатый между шкафами Халдей Халдеевич получил в руки какую-то бумагу, которую ему было предложено немедленно же подписать. Кекчеев-старший ласково потянул его за рукав... Халдей Халдеевич беспомощно посмотрел на него и подписал. Потом он все-таки попробовал прочесть бумагу. В бумаге были подробно перечислены достоинства Кекчеева-младшего. Он был нарисован пленительными чертами. Халдей Халдеевич восторженно отзывался о нем в этой бумаге. Отдел бы ожил, если бы... Но тут Кекчеев-старший добродушно похлопал его по плечу, вынул бумагу из его рук и заговорил о чем-то другом. Потом подписал Вильфрид Вильфридович. Потом большой, круглый живот нырнул в дверь.

Халдей Халдеевич проводил его глазами и пошел к своей конторке, робко сморщиваясь, испуганно поглядывая вокруг.

И вот теперь, только теперь, сегодня утром он понял загадочный смысл этого посещения! Пролаза завел очки, засел за перегородку, вывесил над столом чертеж какого-то проекта и заговорил с Халдеем Халдеевичем слишком вежливым, начальническим тоном. Он был назначен техническим секретарем. Халдей Халдеевич со своей бородачкой, со своим шумом, со своими служебными обязанностями был теперь всецело в его распоряжении.

6

Во втором часу дня маленькая машинистка, которая была настоящей розовой стрекозой с белыми и голубыми бантиками, забежала к техническому секретарю. Халдей Халдеевич прислонил перо к чернильнице и прислушался.

Стрекоза забежала по делу: товарищ Глобачев, заведующий учреждением, просил технического секретаря заехать к нему на дом по срочному делу. Пишущие машинки, как горящий вереск, стрелявшие за спиной Халдея Халдеевича, помешали ему расслышать все остальное. Технический секретарь вскочил, едва не опрокинув стул, и переспросил о чем-то молодым, но уже солидным баском, которому он напрасно старался придать внушительность и хладнокровие. Потом он появился на пороге и, тронув пальцами очки, неторопливо приблизился к Халдею Халдеевичу.

— Я сейчас еду к Глобачеву, — сказал он, — будьте добры, если это не затруднит вас, приготовьте к моему возвращению черновик отчета.

Отвернувшись в сторону, поспешно схватив в руки запачканную чернильную ручку, Халдей Халдеевич хмуρο кивнул головой. Он насупился, зловеющая тень прошла по заросшему лбу, мохнатым бровям, курчавой бороде. У технического секретаря были короткие руки. Он чистил себе ногти перочинным ножом. Из-под шестигранных очков смотрели снисходительные глаза, разбойничьи, в сущности, глаза торгаша и карьериста. Жирный ребенок еще угадывался в нем.

7

Опасная мысль о порочном круге, придавшая солидному и благоустроенному существованию профессора Ложкина характер какой-то непрочности, бивачности, была прозвана им (разумеется, только для самого себя) «бабьим летом» или «второй молодостью».

Он внезапно открыл, что каждый день проделывает один и тот же маневр, состоящий из слов и движений, порядок которых был установлен раз и навсегда с точностью почти астрономической. Он повторял себя день за днем, час за часом.

Машинальность, с которой он читал лекции, сличал рукописи, обедал, ужинал, жил с женой, внезапно показалась ему оскорбительной. Иногда (впрочем, даже себе самому не сознаваясь в этом) он испытывал смутное желание послать все к чертовой матери, уехать в провинцию, заняться кроликами, курами, рыбной ловлей.

Именно эта опасная мысль подчас неожиданно сбивала плавный ход какой-нибудь тысячу раз читанной лекции, предмет которой был известен ему, как письменный стол или лицо жены. Он задумывался, фраза, потерявшая значение, скользила с гуттаперчевого языка. Студенты перемигивались, перебрасывались записками, из указательных пальцев складывали крест. В эти мгновения вместо заблудившейся, потерянной мысли он вспоминал случай с певцом Карузо или Баттистини, который окончил свою карьеру при погребальных свечах, зажженных посетителями миланской оперы. От креста, сложенного из указательных пальцев, до погребальной свечи был, в сущности говоря, только один шаг...

Та же мысль, на этот раз притворившаяся анекдотом, однажды пришла ему в голову во время серьезного разговора с одним из знакомых историков, который обратился к нему за какой-то справ-

кой. Они говорили в дверях читального зала, читатели шпалерами расположились за продолговатыми столами, зелено-голубые абажуры, командующие тишиной, выносили читальный зал за пределы реального существования. Ему, профессору литературы, ветерану этой тишины, генералу от зелено-голубого абажура, в кругу которого лежали раскрытые книги, следовало бы умилиться, да и то молча — неловко было посторонними замечаниями прерывать ученый разговор...

Он умилился. Напротив того, ему вдруг представилось, что вся эта чинная армия читателей — вот и этот кривоногий сумасшедший старик, увешанный множеством орденов, значков и медалей, и худосочный юноша в академическом пенсне, и прочие библиотечные завсегдатаи, — сами того не замечая, сидят и читают голышом, в чем мать родила. Идея эта была, очевидно, просто глупа, и почтенный историк по справедливости не мог понять, над чем хохотал до потери пенсне профессор Ложкин.

Да и вообще профессор Ложкин в тот день произвел на историка неприятное и тягостное впечатление. Он причудился ему ренегатом.

К этому следует присоединить уж совершенный фарс, происшедший неделю спустя между ним и Мальвиной Эдуардовной.

Мальвина Эдуардовна, его супруга, жила главным образом тем, что скрывала от всех свою профессию — до замужества она была повивальной бабкой. Именно в этом тщательном сокрытии профессии заключался весь смысл ее жизни. Она выдумала себе другую родину, других родственников. Она дрожала при мысли, что может случайно — на улице, в театре — встретиться с какой-нибудь из своих пациенток. Она целыми ночами думала над чьим-то неосторожным словом, которое — казалось ей — было сказано с умыслом, с тайным умыслом намекнуть на повивальное искусство.

В минуты откровенности профессор любил говорить, что она была молода, — из сочувствия с ним соглашались.

Откуда-то известно было, что в некотором отношении она, невзирая на свои годы, была слишком требовательна для человека, занимающегося филологией.

Все произошло чрезвычайно просто.

В час, когда Мальвина Эдуардовна, естественно, должна была ожидать, что супруг обеспокоит ее выполнением семейных обязанностей, профессор Ложкин неожиданно закрыл на крючок дверь своего кабинета. Щелканье крючка прозвучало в ушах Мальвины Эдуардовны бессмысленно и неблагонадежно.

Призвав на помощь всю воспитанность, которой она располагала, она с четверть часа пролежала под одеялом неподвижно.

Наконец, чувствуя, что до выяснения непонятого обстоятельства все ее старания уснуть будут напрасны, она встала с кровати и, натянув на величественные плечи капот, постучала в двери кабинета.

То, что ей довелось услышать в ответ, она постаралась забыть в следующую минуту. Через два-три дня она уверила мужа, что к нему в кабинет стучалась прислуга, посланная к профессору со стаканом чая.

— Катись, катись, матушка, — будто бы сказал Ложкин. — Что, в самом деле?.. Довольно я с тобой побаловался... Потом как-нибудь! Ничего особенного, надоело!

В ту же ночь, бессонную, как сова, Мальвиной Эдуардовной был констатирован бунт — система ее правления очевидно терпела крах; надо было принимать решительные меры — по крайней мере, показать, что вторая молодость профессора Ложкина началась с ее, Мальвины Эдуардовны, одобрения и согласия.

Спустя несколько дней, за обедом, она намекнула мужу, что, по ее мнению, следует слегка изменить образ их жизни — «жить более открыто, ну хотя бы принимать у себя друзей, посещать кино, театры». Ложкин, катая по скатерти хлебный шарик, с грустью повторил про себя: «Да, принимать друзей...» Его друзья были когда-то отучены от него Мальвиной Эдуардовной, и этого он в глубине души не мог простить ей, хотя никогда не говорил об этом ни слова.

В ближайшее воскресенье он, кряхтя, натягивал на себя крахмальную рубашку, продевал запонки, мучился у зеркала с галстуком — и Мальвина Эдуардовна впервые заметила, что в последнее время ее муж был чем-то не похож на самого себя. Уж выходя к гостям, она поняла, в чем дело: черная, сморщенная, похудевшая шея профессора Ложкина торчала из ослепительного воротничка, как шея японского божка. Он глазами и даже манерой держаться начинал походить на японца.

Насильственно улыбаясь и все еще думая об этом, она встречала гостей.

Одним из первых пришел академик Вязлов, длинный, сторбленный, с тощей, болотной бородой, умница и язвительный старик, смерти которого ожидали четыре профессора в надежде занять его место в Академии наук.

Старик болел, но не умирал. Напротив того, после очередной болезни он почитал неременной обязанностью явиться к каждому из

претендентов с визитом. Тряся бородой и иронически щуря глаза, он уверял, что претендент худеет, плохо выглядывает, имеет болезненный и истощенный вид. Он подробно рассказывал историю своей болезни, рекомендовал врачей, иногда даже показывал свои анализы, причем каждый пункт толковал отдельно. Уходя, он непременно брал с жены претендента слово, что с этого дня она будет тщательнее следить за здоровьем мужа.

Ложкина он любил, но к его научным занятиям относился пренебрежительно.

Он встретил Ложкина в столовой и, глядя бороду, долго смотрел на него: Ложкин был неблагополучен. Он стоял сгорбившись, положив руку на стол, напряженно прислушиваясь к разговору. У него было недоуменное и строгое лицо. Он стеснялся. Можно было подумать, что он присутствует при каком-то неприятном, но важном и неизбежном событии.

— Вот и вас заело, Степан Степанович, — сказал Вязлов и сел, пристукнув палкой.

Ложкин, очнувшись, бросился к нему и с горячностью, его самого удивившей, заговорил о том, что давно хотел повидаться и поговорить. Ни разу за последние полгода он не вспомнил о Вязлове и не испытывал ни малейшего желания поговорить с ним. Все это была чистейшая ложь — он с досадой подумал об этом, но все же продолжал говорить. Лысые веки Вязлова моргали, седые табачные усы оттопыривались.

Мальвина Эдуардовна наконец позвала мужа встречать новых гостей.

Профессор классической филологии Блябликов, похожий на летучую мышь в своем длинном черном сюртуке, стоял на пороге столовой. Маленькая пузатая жена шла за ним в скромном платье. Ложкин, механически улыбаясь, поцеловал ей руку. Все повторяли одни и те же фразы.

В столовой Блябликов вытащил тяжелый, с монограммами, портсигар и долго постукивал о крышку мундштуком папиросы. Это значило, что он собирается рассказать какую-нибудь сплетню, анекдот, историю. Он рассказывал эти истории тяжело, неумно, с плохо скрытым недоброжелательством или завистью — и тем не менее считался в профессорском кругу присяжным остряком и бонмотистом.

На этот раз анекдот должен был показать профессора классической филологии в роли рыцаря-крестоносца, защитника Гроба Господня от посягательств неверных. Недели две назад факультет получил новое предложение пересмотреть программы.

— Перед нами стояла дилемма, — рассказывал Блябликов, — либо снова приняться за переименование курсов, либо пойти на уступки и, как я сказал на заседании факультета, лишить Демосфена слова...

Анекдот начинался скучно. Ложкин осторожно встал и пошел в прихожую встретить новых гостей.

Вертлявый толстяк, ученый хранитель Пушкинского дома, обнял его, легко оттолкнул и, хохоча, повел представлять молодой жене. Молодая жена, тощая, рыжая библиотечная дама, скаречно улыбнулась. Ложкин, внезапно забывший имя-отчество толстяка, смотрел на них с удивлением. Кое-как назвав толстяка по фамилии, он вместе с ними возвратился в столовую.

Блябликовский анекдот подходил к концу. Все слушали с напряженным вниманием.

— Николай Львович, вы можете писать о чем хотите, поступать как вам угодно, — кричал что-то такое Блябликов. В нем внезапно проснулся бахвал-семинарист, он пристукивал себя кулаком в грудь, даже выгибал грудь, упершись рукой в колено.

Мальвина Эдуардовна шепотом рассказала мужу, в чем дело. Факультет поручил написать объяснительную записку одному из приват-доцентов. Приват-доцент в записке упомянул, что изучение истории Греции и Рима должно повести к искоренению религиозных предрассудков.

— Чтобы я подписался под этой бумагой? — кричал Блябликов невидимому приват-доценту. — Под этим богохульством? Под этим наглым вмешательством в святая святых каждого порядочного человека?

Прислуга вошла, гремя посудой. Мальвина Эдуардовна грозно взглянула на нее.

— Не говоря больше ни одного слова, я расстегнул пиджак, — Блябликов и в самом деле чуть было не расстегнул пиджак, — сверху донизу разорвал рубаху и бросил перед ним крест!

Это было неожиданно и не вполне прилично.

Вязлов откровенно усмехнулся и язвительно пожевал губами.

Ложкин не понял: какой крест? Откуда появился крест? Он догадался наконец. Блябликов бросил на стол свой нателный крест. Зачем? Ну да, чтобы показать, что он не хочет поступиться своими религиозными убеждениями...

Все молчали, даже Мальвина Эдуардовна. Верность религии в том кругу, который собрался в этот вечер в доме Ложкина, была порукой порядочности, но порукой тайной, которою хвастать было

неудобно. Маленькая пузатая жена смотрела на Блябликова укоризненно.

Заговорили о другом. Жены, уединившись вокруг Мальвины Эдуардовны, занялись со всей тщательностью прислугами и детьми. Прислуги, как выяснилось, были нечистоплотны, грубили, воровали, жаловались в профсоюз. Дети, напротив того, были одарены исключительными способностями, прекрасно учились, время от времени болели. О прислугах говорили бездетные.

Мужчины, собравшись в кабинете Ложкина, затеяли азартный разговор о «формалистах».

Они не судили «формалистов» под углом зрения своей науки. Они были слишком стары для этого, они поседели на науке.

Но самый дух «формализма» — дух неверия и неблагополучия, который вносили не в науку, а в комнату эти люди, — был ненавистен им.

Это была уже система, небезопасная для кабинетного существования, близкая чем-то к самой революции, которая казалась им чужой и бесполезной.

Да и своим делом «формалисты» занимались с неприятной поспешностью, с мальчишеской развязностью и непостоянством. Мальчишки, которым революция развязала руки!

Еще не справившись с магистерскими экзаменами, они меняли историю литературы на — смешно сказать — синематограф. Слабые, но, быть может, не безнадежные теоретические рефераты они бросали для болтовни, для беллетристики! Они писали романы. Даже, кажется, стихи?

В сущности говоря, они были людьми падшими, покинувшими привычный, надежный академический круг для жизни бродячей, развратной, беспокойной.

— Падшими? — Ложкин, невнятно удивляясь, стал припоминать — тонкое лицо, пенсне, седеющая бородка, нет, теперь он, кажется, сбрил бородку и очень похудел, не так давно он встретил его в трамвае...

Он хотел возразить — но раздумал. Тем более что толстый хранитель, волнуясь, булькая от удовольствия, только что рассказал, что другой падший содержит в Москве три семьи и живет с китайкой. Кое-что насчет китайки было сказано шепотом, чтобы не услышали дамы.

Вечер, ознаменовавший вторую молодость профессора Ложкина, подходил к концу. Ложкин сидел утомленный, с головной болью,

постаревший. Мальвина Эдуардовна, не справляясь с зевотой, два или три раза взглянула на часы, — когда заговорили о Драгоманове.

Это должно было случиться не потому, что Драгоманов был близок к беспокойным разрушителям научных традиций, и не потому, что он был человеком падшим в точном смысле этого слова, — о нем заговорили потому, что академический круг, к которому принадлежали гости Ложкина, условился молчать о нем.

Вязлов, глядя болотную, с прозеленью, бороду, привстал и, скорженный, страшный, с папиросой, зажатой в кулаке, двинулся по комнате.

«Он похож на дьяка времени Ивана Грозного, — подумалось Ложкину. — Ему не хватает ермолки на голове, гусяного пера за ухом».

Дьяк, размахивая папиросой, творил суд и расправу. Травянистыми табачными глазами он молча обводил гостей. Толстый хранитель при имени Драгоманова сделал испуганное лицо, Блябликов сморщился и потянул носом воздух. Дамы придвинулись ближе.

— Человек, о котором вы изволили упомянуть, — неизвестно к кому обращаясь, начал Вязлов, он разжал кулак и сунул свою папиросу в рот, — есть, в сущности говоря, человек почти гениальный. В свое время я полагал найти в нем достойного преемника Шахматова или Бодуэна. Его лингвистические работы по тонкости догадок человеческому уму почти непонятны. Третьего дня он явился на лекцию, прошу извинения, в подштанниках. Его подозревают — и не без оснований — в тайной торговле опиумом. Берегитесь его!

8

Острая морда выглянула из-под груды книг, сваленных на подоконник. Серый моток, сплюсываясь, выползал из-под японско-русского словаря. Между словарем и толстым томом «Известий Академии наук» был туннель. Упираясь лапками в подоконник, волоча живот, крыса вылезла в мир. Миром была комната Драгоманова. Солнце, прикрытое дырявым носком, длинным шнуром привязанное к небу, висело над этим миром. Оно всходило в шестом часу дня, заходило в полночь. Оно было скользкое, теплое и по временам качалось. Его нельзя было сожрать, к нему опасно было прикасаться.

Над ним лежала крыша мира, растрескавшееся небо, с которого упали стол, стул, кровать, книги. Небо держалось на обоях, обои коробились и гнулись, подпирая его. Оно было похоже на дно, перевернутое вверх ногами.

За столом и на кровати жил шумливый хромой человек, который мешал ходить по дну, жрать муку и картофель. Он пел, кашлял, толкал стулья, скрипел кроватью, царапал бумагу. По временам он с вытаращенными глазами поднимался из-за стола и начинал ходить.

Он ходил час, другой, третий от стола к кровати, от кровати к столу, ходил и тупо улыбался. Он ложился на кровать. Он дымил.

Он дымил, и у крысы начинала кружиться голова. Не пугаясь его больше, она смело выходила на середину комнаты, взбиралась на стул и долго неодобрительно смотрела на небритое лицо с закрытыми глазами, на обожженный чубук, в котором плавилась черные комочки, похожие на шарики из хлеба.

Подчас Драгоманов пальцем поднимал веко и ласково смотрел на нее. Навряд ли он принимал ее за привидение.

По утрам, перед началом лекций, он вел с ней длинные разговоры.

— Сударыня, я подумываю о самоубийстве, — говорил он крысе, — мне, видите ли, все равно предстоит умереть под забором. Незаурядная жизнь, которую я имел честь прожить, мне надоела. Мне надоело таскаться в университет и вбивать в чужие головы науку, в которой я и сам ничего не понимаю. Вы скажете — нет, понимаю! *Vous me flatter, madame*¹, вы слишком любезны. И не я один, никто не понимает. Пора, мой друг, пора кончать эту музыку!

Крыса смотрела на него не мигая. Он подзывал ее пальцем, бросал картофельную шелуху, свистел ей, как собаке, и пытался пиццать по-крысиному.

— Вы меня уважаете, сударыня? — кричал он. — Уважайте меня, я состою на государственной службе! Профессора меня не уважают, меня кусают клопы, дураки отнимают у меня время. В тридцать три года у меня пятидесятилетняя кровь и семидесятилетнее сердце. Если я повешусь, мне, вероятно, простят скандалы в Исследовательском институте и Азиатском музее. За моим гробом пойдут два ученика, три дальних родственника из тех, что еще не убрались за границу, и коллега Леман. В мою комнату переедет рыжий студент, тот самый, что жалуется на соседство клозета, и вы будете так же жрать его картошку, как жрете мою. Для вас ничего не изменится, сударыня. Советуете, а?

Крыса молчала. Брезгливо глядя на Драгоманова, она задом отступала к туннелю. Он был небезопасен, он мог раздавить ее каблучком, разбить голову тяжелой книгой. Она его презирала...

¹ Вы мне льстите, сударыня (*фр.*).

Университетское общежитие еще хранило обычаи, которые прославили его в годы гражданской войны. В квартире заведующего еще жили старички, которые постоянно спорили о преимуществах ректора, умершего в девятьсот седьмом году, перед ректором, умершим в девятьсот четырнадцатом, этажи еще различались по запахам, коллега Леман, студент, составлявший и собиравший некрологи, еще бродил по лестницам общежития.

День был еще похож, ночь была уже другая.

Кухня и кипятыльник — самые излюбленные места вечеринок, любовных свиданий и философских споров — были уже просто кухней и просто кипятыльником; на них уже не лежал памятный отпечаток эпохи.

Еще никто не забыл, как она умирала, эта эпоха, — непонятой, понятой, неблагополучной. Она горела в ночниках, вечерами стоявших вдоль остывшей плиты, она догорала после полуночи в комнате с кипятыльным баком. Бак был еще теплый, для него тайком воровали дрова из штабелей на берегу Невы и по очереди пилили.

Ночь начиналась с того, что гасли матовые фонари в коридорах, упирившихся — нет, не в Неву, в воздух Невы, в береговой ветер.

Все с ночниками в руках шли на кухню. Плита лежала огромная, уютная, тупая, похожая на приземистого, требовательного бога.

Ночники рядами стояли на ней, освещая раскрытые книги, куски лиц, шахматные доски. Это было веселое жилище теней и крыс. Крысы, понявшие новый порядок как личное завоевание, расплодившиеся, как крысы, шумели и грызлись с кошками по углам. Они пищали, у них был свой клуб в большом дровяном ларе. Каждый вечер они справляли по свадьбе.

Кругом читали, спорили, играли в шахматы, пели. В кипятыльнике под баком еще светились угольки.

Эпоха догорала.

Драгоманова не любили в общежитии. Он и жил в нелюбимом месте, неподалеку от черной лестницы, где постоянно горела тусклая лампочка и никогда не было разницы между днем и ночью; из странных людей, еще бродивших вокруг университета, он был самым странным. Благополучие, пришедшее в общежитие с шестым

и седьмым годом революции, не коснулось его. Гражданская война еще жила в его комнате, в заплечном мешке он носил из библиотеки книги.

Крыса, с которой он говорил по утрам, была прямой наследницей тех, что несколько лет тому назад были свидетелями любовных свиданий у кипятильников и философских споров на кухне.

Его боялись. Все знали, что он наркоман, что у него темное прошлое неудачника, путешественника, игрока.

Курсистки, податливые и нечистоплотные, с которыми жили все в общежитии, относились к нему с неприязнью. Старые студенты, еще бормотавшие под пьяную руку «Gaudeamus», считали его человеком, не заслуживающим доверия.

И только коллега Леман, рыжий, тихий, задумчивый, выстриженный бобриком, чувствовал к нему глубокое уважение.

Это был интерес естествоиспытателя, научный интерес. Драгоманов принадлежал ему. Драгоманов был живым некрологом, увлекательным, как история Белоруссии, которой занимался Леман. Невозмутимо торжественный, прямой, оборванный до самой шеи, до воротничка, из которого торчала важная голова философа, он приходил к Драгоманову и молчал. Он считал Драгоманова своим единомышленником. Фантастические очертания девятнадцатого года мельтешили и перед его глазами. Он наблюдал Драгоманова. Некролог обещал быть неподражаемым, единственным в своем роде.

Над Леманом смеялись в общежитии, по ночам у его дверей служили панихиды, ему посылали от имени умерших красавиц любовные письма, шалопаи, притворявшиеся воскресшими деятелями белорусской истории, но ночам являлись к нему в простынях и требовали ответа за ошибки, которые он якобы допустил в своих некрологах.

На собраниях, которые он заполнял чтением поощрительных биографий каких-то чиновников, архиереев, мелких военных, стоял содом, от хохота дрожали стекла.

И вместе с тем в нем чувствовался человек обреченный.

Быть может, это сознание обреченности и заставляло его постоянно возиться с покойниками, да и на живых смотреть сквозь траурную рамку с орнаментами, которую он постоянно рисовал в своих записных книжках.

Но Драгоманов безжалостно издевался над ним. Он врал ему без удержу, рассказывал, что он два года скитался по публичным домам Сирии и Палестины, что он хромает с тех пор, как упал с трапеции, работая воздушным гимнастом в знаменитом цирке Гагенбека.

СОДЕРЖАНИЕ

СКАНДАЛИСТ, ИЛИ ВЕЧЕРА НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ. <i>Роман</i>	5
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ. <i>Роман</i>	185
ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ. <i>Роман</i>	325
ДВУХЧАСОВАЯ ПРОГУЛКА. <i>Роман</i>	563
НАУКА РАССТАВАНИЯ. <i>Роман</i>	697
ВЕРЛИОКА. <i>Сказочная повесть</i>	865

Каверин В.

К 12 Перед зеркалом. Двойной портрет. Наука расставания : романы, повесть / Вениамин Каверин. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 992 с. — (Русская литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-20896-4

Вениамин Александрович Каверин — классик советской литературы, автор знаменитого романа «Два капитана». В молодости он входил в литературную группу «Серапионовы братья», писал фантастические рассказы; в конце жизни Каверин — признанный мэтр, учитель и наставник нового поколения писателей. В этом издании представлены наиболее известные произведения Каверина разных лет.

«Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» — один из самых ярких романов о советском научном и художественном авангарде и его лидере, знаменитом «скандалисте» В. Шкловском. «Двойной портрет» — смелое для своего времени повествование о трагической судьбе ученого, попавшего в лагерь. «Перед зеркалом» — психологический роман о любви и искусстве. «Двухчасовая прогулка» — роман о советских ученых времен застоя, их повседневной жизни. «Наука расставания» — правдиво описанный случай времен Великой Отечественной войны, во время которой Каверин служил военным корреспондентом на Северном флоте. А завершает книгу знаменитая сказочная повесть «Верлиока», в ней писатель вновь обратился к образам и мотивам кумиров своей молодости — Гофмана и Шварца.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ КАВЕРИН

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
•
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
•
НАУКА РАССТАВАНИЯ

Ответственный редактор Алла Степанова
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Ольга Золотова, Наталья Хуторная
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 22.03.2022. Формат издания 60 × 90^{1/16}.
Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Усл. печ. л. 62.
Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-ARL-29811-01-R